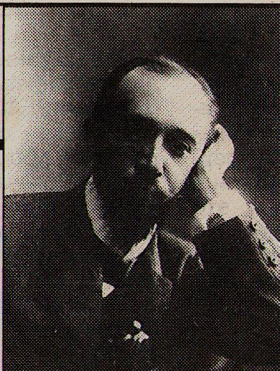




ОТКРЫТЫЙ АРХИВ



В 1984 году во ВНИИ искусствознания известный историк балета, старший научный сотрудник Елизавета Яковлевна Суриц начала собирать материалы для сборника статей и воспоминаний о хореографе Большого театра Александре Горском (предполагалось, что сборник этот будет издан затем в издательстве "Искусство"). Я предложила Елизавете Яковлевне сделать литературные записи воспоминаний двух балерин, работавших с Горским — Маргариты Павловны Кандауровой и Веры Николаевны Светинской. Обе они тогда были уже достаточно преклонного возраста, но все, что касалось их молодости, помнили отчетливо и рассказывали с увлечением.

Вера Николаевна Светинская после окончания Московского хореографического училища с 1912 года была артисткой кордебалета Большого театра и покинула его в 1924 году — в год смерти Горского. В истории московского балета имя Светинской не занимает столь почетного места, как имя Кандауровой, но воспоминания ее о Горском сегодня поистине бесценны. Умерла Вера Николаевна в 1986 году в 90-летнем возрасте. Публикуемый ниже материал — небольшой фрагмент воспоминаний (расшифрованных с магнитофонной пленки), подготовленных специально для сборника об Александре Горском; сборника, который до сих пор, увы, так и не издан.

Екатерина БЕЛОВА.

Вера СВЕТИНСКАЯ

Мои встречи
с Горским

Александр Алексеевич Горский был моим педагогом в балетной школе. Помню, в помещении старой школы он вел репетицию "Раймонды" с участием артистов Большого театра. А мы, воспитанницы, прячась в уголках зала, внимательно следили за танцовщиками. Во время небольшого перерыва Александр Алексеевич вышел покурить на площадку, и его взгляд как-то невольно задержался на мне. Мои одноклассницы-подружки, тут же заметив это, начали обсуждать причину такого пристального внимания балетмейстера. "Что это он так долго смотрел на Светинскую?" — спросила одна девочка. "Горский влюблен в Веру Каралли, а у нее такой же длинный нос, как у Светинской, вот потому он на нее и смотрел", — предположила другая. Я же так ответила на их реплики: "Да у меня такой же длинный нос, как у Каралли, и я хочу, чтобы Горский также влюбился в меня и страдал, мучаясь за двойку, которую он незаслуженно мне поставил за танцы!" И кто мог знать тогда, что за страдания детской души Горский впоследствии будет так жестоко наказан судьбой.

Александр Алексеевич был очень скуп на похвалы, поэтому каждое его поощрение особенно ценилось и запоминалось надолго. Первую его похвалу я заслужила, когда, заменяя Елену Адамович, репетировала ее вариацию в вальсе "Раймонды". Посмотрев репетицию, Горский спросил меня: "Светинская, кто вас научил так танцевать эту вариацию?" И узнав, что научила Адамович, сказал: "Всегда старайтесь брать себе в учителя человека, который хорошо танцует, чтобы потом перенять для себя все лучшее!" Это была, пожалуй, единственная похвала, которую я от него слышала.

Горский не мог жить без балета, в этом заключался для него смысл жизни. Он часто говорил мне: "Разве искусство любят так, как вы? Нет, вы любите жизнь, а не искусство!" Да, я любила прежде всего жизнь, и в этом было мое спасение, потому что меня никогда не волновало, в какой линии кордебалета я стою. Я никому не завидовала, не держалась за роли, не стремилась во что бы то ни стало выделиться, обязательно стать солисткой, премьершей, оказаться в центре всеобщего внимания. Я не занималась самообразованием, не была фанатиком, а просто любила танцевать, получая от этого удовольствие. "Конечно, вы любите танцевать", — говорил мне Александр Алексеевич, — но вы не отдаете все себя танцам, не ставите танец на первое место в вашей жизни". Сам же Горский, действительно, жил только балетом, у него не было личной жизни, и он всего себя посвящал искусству.

Александр Алексеевич производил впечатление очень замкнутого, порой даже нелюдимого человека: он мало с кем общался, вел уединенный, и как мне казалось, довольно скучный образ жизни. В гостях у него бывала дважды в год — на Пасху и в день его именин, 30 августа. Сестра Горского — Вера Алексеевна — мне не очень нравилась, хотя те, кто ее лучше знал, всегда хорошо о ней отзывались. Мне же она казалась какой-то отсталой от жизни, и взгляды ее на искусство представлялись мне давно устаревшими. Тетка же — Анастасия Петровна — была женщиной строгих правил, и я ее побаивалась. Помню, когда я на Пасху выпила маленькую рюмку вина, она, осуждающе посмотрев на меня, сказала: "Вероятно, артистки теперь уже со шлохотных лет выпивают?!"

В гостях у Горского я никогда никого не видела, хотя знала, что он поддерживал приятельские отношения с Александром Дмитриевичем Булгаковым, возможно потому, что тот тоже был из Петербурга. Знала я, что он дружил и с семьей Риты Кандауровой, но ни ее, ни ее родителей, я у Александра Алексеевича не встречала. Может быть, правда, он специально никого к себе не приглашал в те дни, когда я у него бывала?

У Горского была прекрасная библиотека, он вообще очень много читал. Когда я приходила к нему в гости, то всегда с интересом рассматривала его великолепные книги, изумительно изданные, с чудесными иллюстрациями. Особенно мне запомнилось шеститомное издание "Истории Индии" и "Искусство времен крепостничества", которые потом, к сожалению, пропали. После смерти Александра Алексеевича Иван Смольцов не хотел отдавать библиотеку и вещи Горского в музей Бахрушина, собираясь оставить это все в Большом театре. Но во время войны библиотеку и вещи перенесли в контрфорс Большого театра, и там все исчезло — может быть, их растащили или сожгли: следов пропажи найти так и не удалось.

В первые годы моей работы в театре Александр Алексеевич прислал мне большое письмо, где рассказывал мне о своей трудной жизни, о многих страданиях, просил меня быть рядом с ним. "Дорогая Верочка! — писал он. — Я схо-

жу с ума, — то маленькое чувство, когда человек только нравится, выросло в стихийное чувство любви, стихийное потому, что все остальное пошло прахом. Я ничего не вижу, не слышу, не понимаю. Всюду только Вы и Вы. Я долго боролся с собой, я много страдал в прошлом и настоящем, отгонял от себя любовь как блаженство или смерть. Я говорил себе, что это не для меня. Я строил свои воздушные замки и жил обыкновенной пошлой жизнью человека, пользовался случайными ласками случайных женщин, тратя здоровье и деньги, и мечты о светлом летели мимо меня. Мне дарили дружбу и обманывали, притягивали и отталкивали. Я думал уже, что очерствел, и не тронет любовь меня, только старое одиночество тревожит... Но что-то коснулось меня, еще не ясное, не определенное, и вся душа всколыхнулась..."

Когда я читала это письмо, то плакала — так жалко было мне Александра Алексеевича, но ответного чувства к нему у меня никогда не возникало. Общась с ним, я всегда невольно замыкалась и не могла говорить с Горским запросто, как с другими артистами и сотрудниками театра. Например, на банкете у Тихомирова, артисты балета, зная, что Горский влюблен в меня, хотели за столом обязательно посадить нас рядом, но я отказалась. Потом, правда, боясь обидеть Александра Алексеевича, все-таки согласилась и села, но весь вечер почти не проронила ни слова, чувствуя себя очень скованно и неуютно. Я его даже немного побаивалась — для меня это был прежде всего большой балетмейстер, солидный мужчина, который был старше меня почти на 25 лет (в молодости такая разница в возрасте казалась просто гигантской). К тому же, при всей эрудированности, таланте, интеллигентности, порядочности, в Александре Алексеевиче не хватало какой-то изюминки, мужественности, чистоты мужского обаяния, — того, что обычно нравится женщинам. Его многие ценили и уважали, но мало кто любил. Он это очень болезненно переживал, и его спасало только искусство, давая силы жить и работать.

Как-то, во время Первой Мировой войны, в Большом театре, под Рождество, был устроен благотворительный вечер — костюмированный бал с елкой. В фойе играл оркестр, кресла партера убрали, и сцена соединилась со зрительным залом. Артисты придумывали себе какие-то необычные маскарадные костюмы, а Горский почему-то оделся половым, что, конечно, всех развеселило. Я же, весь вечер стояла у елки и, приглашая всех присутствующих кататься на ковриках, очень устала. И когда в самом конце бала мне разрешили покинуть

мой "пост", я подошла к Горскому, оперлась на его руку, и мы ушли. Потом он много раз вспоминал этот вечер и говорил, что это был один из счастливейших моментов в его жизни, когда я, уставшая, подошла именно к нему и он проводил меня с бала домой.

В театре, особенно во время гастролей, Александр Алексеевич всегда стремился находиться рядом со мной, а мне намного интереснее и веселее было с ровесницей-подругой, балериной Софией Невельской. Горский же часто страдал от ревности. А за мной тогда ухаживал еще художник Большого театра Карл Федорович Валяц, которому я, в отличие от Александра Алексеевича, симпатизировала и отвечала большей взаимностью, хотя он был еще старше Горского. Но ухаживал красиво! Об этом, естественно, знал весь театр, и работники постановочной части, увидев меня за кулисами, в шутку пели, изменив фразу из "Тугенотов": "У Карла есть враги! Среди них и Горский сам!"

Все видели, что Горский страдал, и делали мне всевозможные замечания. Например, помощник балетмейстера Иван Емельянович Сидоров неоднократно говорил мне: "Почему ты так нехорошо ведешь себя, зачем ты обижала человека? Ты бы поговорила с Александром Алексеевичем приветливо, как с друзьями, — ему бы сразу стало легче! Неужели тебе так трудно с ним просто по-дружески поговорить?" Я старалась и Ивану Емельяновичу, и другим объяснить, что, действительно, для меня это трудно, но мне не верили и не понимали, сочувствуя только Горскому.

Даже сама Екатерина Васильевна Гельцер как-то взялась меня учить, показывая, с какой улыбкой я должна разговаривать с Александром Алексеевичем, как должна поворачиваться к нему за столом, реагировать на его слова и знаки внимания. "Я бы на твоём месте, — говорила она мне, — в ватку его завернула, обмотала бы тонкой ленточкой, и дышать бы ему не давала, — так бы любила! Это же такой талант! А ты как с ним общаешься?!" Потом посмотрела на меня, вздохнула, и сказала: "А может быть, ты и права, ведь у тебя есть молодость".

Многие артисты мне тогда внушали, что я не имею права упускать такого счастья и должна обязательно выйти за Горского замуж, чем непременно сделаю себе карьеру! Эти разговоры обижали и раздражали, лишь отдаляя меня от Александра Алексеевича. И если бы я тогда действительно вышла за него замуж, мне было бы стыдно, потому что я сделала бы это не из-за любви (которой к Горскому никогда не испытывала), а из-за карьеры, которая меня совершенно не интересовала, и я бы только испортила этим себе всю жизнь.

Александр Алексеевич понимал, конечно, что ответного чувства с моей стороны к нему нет, но продолжал любить меня. "Дорогая, милая Вера Николаевна! — писал он в 1916 году. — Год тому назад, в Светлую Пасху, я писал

Вам свое первое письмо, полный неясными, но светлыми надеждами. Весь горел своими лучшими стремлениями и вспыхнувшей любовью, писал свои строки, восклицая: Христос Воскрес! Христос Воскрес! — восклицаю и теперь, пройдя год тяжелейших испытаний, живя уже несбыточными, почти безумными надеждами — разум твердит другое, молотками стучит в уши, — но сердце так же, как год назад, больно сжимаясь, кричит: "Люблю! Люблю!" Да, дорогая, я также безумно люблю Вас и никакие доводы не смогли побороть моего чувства".

Мне очень хотелось посмотреть в Художественном театре спектакль "У жизни в лапах" по пьесе Гамсуна. Как-то я сказала об этом Горскому, и он вскоре пригласил меня в Художественный театр, который высоко ценил. Особенно мне запомнился финал спектакля, когда негр говорил: "Я пришел сказать, что мой господин умер, и что я принес вам самого себя!" Это был один из немногих наших совместных походов в театр. А еще вместе с Александром Алексеевичем мы ходили смотреть балеты Фокина, когда он приезжал на гастроли в Москву.

У Горского с Фокиным были приятельские отношения. Фокин часто говорил ему: "Ты счастливый, Саша, — у тебя такая хорошая труппа, а я все больше с чиновниками работаю!" Фокину особенно нравилась "Тщетная предосторожность" в постановке Горского — замечательный спектакль! Когда Фокин, будучи на гастролях, репетировал с московскими артистами в Большом театре свои балеты, я заболела и не смогла участвовать в кордебалете в его постановках, а многие тогда считали, что это Горский из ревности запретил мне репетировать с Фокиным! Честно говоря, я даже была рада, что заболела в то время, потому что работать с Фокиным оказалось безумно трудно: его многое не устраивало в исполнителях, он был очень нетерпеливый, часто покрикивал на артистов, привыкших к тому, что Александр Алексеевич, несмотря на его строгость, на репетициях вообще никогда голоса не повышал.

Горский хотел поставить с балетной школой спектакль "День рождения инфанты" по Оскару Уайльду. Ему нравилась эта сказка с трагическим концом, в которой особенно привлекала необычная фигура карлика. Это был один из последних, так и не осуществленных его замыслов. Я же предлагала Александру Алексеевичу поставить балет "Русалочка" по сказке Андерсена, сюжет которой просто "просился" на балетную сцену: ведь героиня, потеряв возможность говорить, передает все свои чувства танцем! Горский соглашался со мной, но объяснял, что дело это нескоро.

Александр Алексеевич постоянно был полон различных замыслов, даже когда, незадолго до смерти, лежал в частной больнице у Сольцева в Петровском парке (у него было нервное расстройство). Я несколько раз с кем-нибудь из балетных артистов приезжала к нему в больницу, и он всегда говорил с нами о театре, о спектаклях, о будущих постановках, которым уже не суждено было увидеть свет рампы. Наверное, и последние его мысли относились тоже к балету.

Литературная запись
Е.БЕЛОВОЙ.

● А. Горский.
● Опера Мейербергера
"Тугеноты". Цыганский танец
исполняют В. Светинская
(стоит) и С. Невельская.
● Балет "Этека и Петроний
в пост. А. Горского. 1915 г.
В. Светинская (справа) и
Невельская.

